

**А. П. Чехов**

# **Остров Сахалин**

**«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
А11

**А. П. Чехов**  
А11 Остров Сахалин / А. П. Чехов – М.: Книга по Требованию. – 506 с.

**ISBN 978-5-519-65894-2**

"Остров Сахалин" - "путевые записки", документальные в своей основе, - итог беспримерной для своего времени поездки А. П. Чехова на восточную окраину России. Это произведение стало предметом особой гордости писателя. "Я рад, что в моем беллетристическом гардеробе, - отмечал он, - будет висеть и сей жесткий арестантский халат. Пусть висит!" В состав сборника вошли также очерки "Из Сибири" и рассказы.

**ISBN 978-5-519-65894-2**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2019  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2019  
© А. П. Чехов, 2019

## Из Сибири

### I

— Отчего у вас в Сибири так холодно?

— Богу так угодно! — отвечает возница.

Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются солоньями, на юге давно уже цветут акация и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и в оврагах лежит еще снег...

Зато никогда в жизни не видал я такого множества дичи. Я вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в лужах и придорожных канавах, как вспархивают почти у самого возка и лениво летят в березняк. Среди тишины вдруг раздается знакомый мелодический звук, глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей, и почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых как снег, красивых лебедей... Стонут всюду кулики, плачут чайки...

Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы.

— Из какой губернии?

— Из Курской.

Позади всех плетется мужик, не похожий на других. У него бритый подбородок, седые усы и какой-то непонятный клапан позади на сермяге; под мышками две скрипки, завернутые в платки. Не нужно спрашивать, кто он и откуда у него эти скрипки. Непутевый, не степенный, хворый, чув-

ствительный к холоду, равнодушный к водочке, робкий, всю свою жизнь прожил он лишним, ненужным человеком сначала у отца, потом у брата. Его не отделяли, не женили... Нестоящий человек! На работе он зябнул, хмелел от двух рюмок, болтал зря и умел только играть на скрипке да возиться с ребятами на печке. Играл он и в кабаке, и на свадьбах, и в поле, и ах как играл! Но вот брат продал избу, скот и все хозяйство и идет с семьей в далекую Сибирь. И бобыль тоже идет — деваться некуда. Берет он с собой и обе скрипки... А когда придет на место, станет он зябнуть от сибирского холода, зачахнет и умрет тихо, молча, так что никто не заметит, а его скрипки, заставлявшие когда-то родную деревню и веселиться и грустить, пойдут за двугривенный чужаку-писарю или ссыльному, ребята чужака оборвут струны, сломают кобылки, нальют в нутро воды... Вернись, дядя!

Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет сорока с русой бородой; он сидит на скамье на пароходе; у ног его мешки с домашним скарбом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула.

— Хуже не будет! — говорит он и улыбается одной только верхней губой.

В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет:

— Хуже не будет!

— Будет хуже! — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонко-непереселенец с острым взглядом. — Будет хуже!

Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибинок, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные... Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой...

Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звоня кандалами, идут по дороге 30–40 арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади — две подводы. Один арестант похож на армянского священника, другого, высокого, с орлиным носом и с большим лбом, я как будто видел где-то в аптеке за прилавком, у третьего — бледное, истощенное и серьезное лицо, как у монаха-постника. Не успеваешь оглядеть всех. Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи идти... До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст. А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облепят клопы — злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать.

Вечером земля начинает промерзать и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно! Ни жилья, ни встречных... Ничто не шевелится в темном воздухе, не издает ни звука, и только слышно, как стучит возок о мерзлую землю да, когда закуриваешь папиросу, около дороги с шумом вспархивают разбуженные огнем две-три утки...

Подъезжаем к реке. Надо переправляться на ту сторону на пароме. На берегу ни души.

— Уплыли на ту сторону, язви их душу! — говорит возница. — Давай, ваше благородие, реветь.

Кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать — здесь значит реветь, и потому в Сибири ревут не только медведи, но и воробьи и мыши. «Попалась кошке — и ревет», — говорят про мышь.

Начинаем реветь. Река широкая, в потемках не видно того берега... От речной сырости стыннут ноги, потом все тело... Ревем мы полчаса, час, а парома все нет. Надоедают скоро и вода, и звезды, которыми усыпано небо, и эта тяжелая, гробовая тишина. От скуки разговариваю я с дедом и узнаю от него, что женился он 16 лет, что у него было 18 детей, из которых умерло только трое, что у него живы еще отец и мать; отец и мать — «киржаки», то есть раскольники, не курят и за всю свою жизнь не видали ни одного горо-

да, кроме Ишима, а он, дед, как молодой человек, позволяет себе побаловаться — курить. Узнаю от него, что в этой темной, суровой реке водятся стерляди, нельмы, налимы, щуки, но что ловить их некому и нечем.

Но вот наконец слышится мерный плеск, и на реке показывается что-то неуклюжее, темное. Это паром. Он имеет вид небольшой баржи; на нем человек пять гребцов, и их два длинных весла с широкими лопастями похожи на рачьи клешни.

Пристав к берегу, гребцы первым делом начинают браниться. Бранятся они со злобой, без всякой причины, очевидно спросонок. Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у весел есть матери. Самая мягкая и безобидная брань у гребцов — это «чтоб тебя уязвило» или «язвина тебе в рот!». Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал. Я в полушубке, больших сапогах и в шапке; в потемках не видно, что я «ваше благородие», и один из гребцов кричит мне хриплым голосом:

— Эй ты, язваина, что стоишь, рот разинул? Отпрягай пристяжную!

Въезжаем на паром. Перевозчики, бранясь, берутся за весла. Это не местные крестьяне, а ссыльные, присланные сюда по приговорам обществ за порочную жизнь. В деревне, где они приписаны, им не живется — скучно, пахать землю не умеют или отвыкли, да и не мила чужая земля, и пошли они сюда на перевоз. Лица у них испытые, истасканные, битые. А какие выражения на лицах! Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тело невыносимо жгли клопы, одеревенели до мозга костей; а теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили все тепло, какое имели, и осталось у них в жизни только одно: водка, девка, девка, водка... на этом свете они уже не люди, а звери, а по мнению деда, моего возницы, и на том свете им будет худо: пойдут за грехи в ад.

## II

Из большого села Абатского (375 верст от Тюмени), в ночь под 6-е мая, везет меня старик лет 60; незадолго перед тем, как запрягать, он парился в бане и ставил себе кровососные банки. Для чего банки? Говорит, что поясница болит. Он боек не по летам, подвижен, словоохотлив, но ходит нехорошо: кажется, у него спинная сухотка.

Я сижу в высоком, некрытом тарантасике, везет пара. Старик помахивает кнутом и покрикивает, но уж не кричит по-прежнему, а только кряхтит или стонет, как египетский голубь.

По сторонам дороги и вдали на горизонте змееобразные огни: это горит прошлогодняя трава, которую здесь нарочно поджигают. Она сыра и туго поддается огню, и потому огненные змеи ползут медленно, то разрываясь на части, то потухая, то опять вспыхивая. Огни искрятся, и над каждым из них белое облако дыма. Красиво, когда огонь вдруг охватит высокую траву: огненный столб вышиною в сажень поднимается над землей, бросит от себя к небу большой клуб дыма и тотчас же падает, точно проваливается сквозь землю. Еще красивее, когда змейки ползают в березняке; весь лес освещен насквозь, белые стволы отчетливо видны, тени от березок переливаются со световыми пятнами. Немножко жутко от такой иллюминации.

Навстречу во весь дух, гремя по кочкам, несется почтовая тройка. Старик спешит свернуть вправо, и тотчас же мимо нас пролетает громадная, тяжелая почтовая телега, в которой сидит обратный ямщик. Но вот слышится новый гром: несется навстречу другая тройка и тоже во весь дух. Мы торопимся свернуть вправо, но, к великому моему недоумению и страху, тройка сворачивает почему-то не вправо, а влево и прямо летит на нас. А что, если столкнемся? Едва я успеваю задать себе этот вопрос, как раздается треск, наша пара и почтовая тройка мешаются в одну темную массу, тарантас становится на дыбы и я падаю на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы... Пока я, ошеломленный, лежу

на земле, мне слышно, что несется третья тройка. Ну, думаю, эта наверное убьет меня. Но, слава богу, я ничего не сломал себе, ушибся не больно и могу встать с земли. Вскрываю, отбегаю в сторону и кричу не своим голосом:

— Стой! Стой!

Со дна пустой почтовой телеги поднимается фигура, берется за вожжи, и третья тройка останавливается почти у самых моих вещей.

Минуты две проходят в молчании. Какое-то тупое недоумение, точно все мы никак не можем понять того, что произошло. Оглобли сломаны, сбруи порваны, дуги с колокольчиками валяются на земле, лошади тяжело дышат; они тоже ошеломлены и, кажется, больно ушиблены. Старик, крихтя и охая, поднимается с земли; первые две тройки возвращаются, подъезжает еще четвертая тройка, потом пятая...

Затем начинается неистовая ругань.

— Чтоб тебя уязвило! — кричит ямщик, столкнувшийся с нами. — Язвина тебе в рот! Где у тебя глаза были, старая собака?

— А кто виноват? — кричит плачущим голосом старик. — Ты виноват, да ты же и ругаешься?

Как можно понять из ругани, причину столкновения было следующее. Ехало в Абатское пять обратных троек, возивших почту; по закону обратные ямщики должны ехать шагом, но передний ямщик, соскучившись и желая скорее попасть в тепло, погнал лошадей во весь дух, в задних же четырех телегах ямщики спали и некому было править тройками; за первую во весь дух побежали и остальные четыре. Если бы я спал в тарантасе или если бы третья тройка бежала тотчас же за второй, то, конечно, дело не обошлось бы для меня так благополучно.

Ямщики ругаются во все горло, так что их, должно быть, за десять верст слышно. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо! Так умеют браниться только сибирские ямщики

и перевозчики, а научились они этому, говорят, у арестантов. Из ямщиков громче и злее всех бранится виноватый.

— Ты не бранись, дурак! — защищается старик.

— А что? — спрашивает виноватый ямщик, мальчишка лет 19, с угрожающим видом подходит к старику и становится лицом к лицу. — А что?

— Ты не очень!

— А что? Отвечай: что же будет? Возьму обломок оглобли, да обломком тебя, язвина!

По тону судя, быть драке. Ночью, перед рассветом, среди этой дикой ругающейся орды, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодного ночного воздуха, около этих беспокойных, норовистых лошадей, которые столпились в кучу и ржут, я чувствую такое одиночество, какое трудно описать.

Старик, ворча и высоко поднимая ноги — это он от болезни, — ходит вокруг тарантаса и лошадей и отвязывает, где только можно, веревочки и ремешки, чтобы связать ими сломанную оглоблю, потом он, зажигая спичку за спичкой, ползает на брюхе по дороге и ищет постромку. Идут в дело и мои багажные ремни. Уж занялась заря на востоке, уж давно кричат проснувшиеся дикие гуси, наконец уж уехали ямщики, а мы все еще стоим на дороге и починаемся. Пробовали было ехать дальше, но связанная оглобля — трах!.. и нужно опять стоять... Холодно!

Кое-как шагом доплетаемся до деревни. Останавливаемся около двухэтажной избы.

— Илья Иваныч, кони дома? — кричит старик.

— Дома! — отвечает кто-то глухо за окном.

В избе встречает меня высокий человек в красной рубахе и босой, сонный и чему-то спросонок улыбающийся.

— Клопы одолели, приятель! — говорит он, почесываясь и улыбаясь еще шире. — Нарочно горницу не топим. Когда холодно, они не ходят.

Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят; путешественники не едут, а бегут. Спрашивают: «Куда, ваше благородие, бежишь?» Это значит: «Куда едешь?»

Пока на дворе подмазывают возок и позвякивают колокольчиками, пока одевается Илья Иваныч, который сейчас повезет меня, я отыскиваю в углу удобное местечко, склоняю голову на мешок с чем-то, кажется с зерном, и тотчас же мною овладевает крепкий сон; уж снятся мне моя постель, моя комната, снится, что я сижу у себя дома за столом и рассказываю своим, как моя пара столкнулась с почтовой тройкой, но проходят две-три минуты, и я слышу, как Илья Иваныч дергает меня за рукав и говорит:

— Вставай, приятель, лошади готовы.

Какое издевательство над ленью, над отвращением к холоду, который змейкой пробегает по спине и вдоль и поперек! Опять еду... Уже светло, и золотится перед восходом небо. Дорога, трава в поле и жалкие, молодые березки покрыты изморозью, точно засахарились. Где-то токуют тетерева...

*8-го мая.*

### III

По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоянных дворов... Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы.

В каждом селе — церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит скворечня, и так низко, что до нее можно рукой достать. Скворцы здесь пользуются общею любовью, и их даже кошки не трогают. Садов нет.